

ОЛИВЕР САКС

НОГА КАК ТОЧКА
ОТТОРЪ



Оливер Сакс: невероятная психология

Оливер Сакс

Нога как точка опоры

«АСТ»

2014

УДК 159.9
ББК 88.5

Сакс О.

Нога как точка опоры / О. Сакс — «АСТ», 2014 — (Оливер Сакс: невероятная психология)

ISBN 978-5-17-084750-1

«Нога как точка опоры» – самое своеобразное из «клинических» произведений Сакса. Его необычность заключается в том, что известный ученый в результате несчастного случая сам оказывается в роли пациента. Однако автобиографическое произведение Оливера Сакса – не рутинная история заболевания и выздоровления, а живое, увлекательное и умное повествование о человеческих отношениях, физических, психологических и экзистенциальных аспектах болезни и борьбы с ней, и прежде всего – о физиологической составляющей человеческой личности.

УДК 159.9
ББК 88.5

ISBN 978-5-17-084750-1

© Сакс О., 2014
© АСТ, 2014

Содержание

Предисловие	6
I. Гора	8
II. Пациент	18
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Оливер Сакс

Нога как точка опоры

Oliver Sacks. A LEG TO STAND ON

Перевод с английского А.В. Александровой

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.

© Oliver Sacks, 1999

© Перевод. А.В. Александрова, 2012

© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

* * *

Медицина всегда заявляет, что во всех предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своем искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения... Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собой взад и вперед игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают.

*Мишель Монтень*¹

¹ Монтень М. Опыты. Кн. 3, гл. 13. Пер. Н. Рыковой.

Предисловие

Том Ганн выразительно писал о «поводах для открытий» в поэзии. В науке таких поводов не меньше, чем в искусстве: иногда это приснившаяся метафора, подобно змее Кекуле, иногда аналогия, подобно яблоку Ньютона, иногда событие, неожиданно обретающее невообразимую важность, подобно восклицанию Архимеда «Эврика!». Каждая такая случайность может стать открытием.

Поводы к открытиям в медицине порождаются практикой, непосредственным общением с пациентами, их болезнью или травмой. Поводом для создания этой книги стало мое собственное увечье, полученное вследствие несчастного случая в горах Норвегии. Хотя медицина – моя профессия, я никогда раньше серьезно не болел, а теперь был и врачом, и пациентом одновременно. Я представлял себе свое увечье (значительное, но без осложнений повреждение мышц и нервов) как нечто простое и рутинное, и меня поразило множество последствий, которое оно вызвало: паралич и отчуждение ноги, превратившее ее в «объект», казавшийся со мной не связанным; бездну странных и даже пугающих эффектов. Я и представления не имел, как понимать эти последствия, и начал бояться, что могу никогда не поправиться. Полное выздоровление представлялось мне чудом. С тех пор я стал понимать, как может быть ужасна и прекрасна жизнь, и зависит это только от нашего здоровья.

Глубоко обеспокоенный и озадаченный этими необычными последствиями – общим резонансом, так сказать, местного повреждения – и отсутствием адекватного утешения со стороны собственного доктора, я обратился к выдающемуся нейропсихологу А.Р. Лурии в Москву. «Такие синдромы, возможно, встречаются часто, но очень редко описываются», – ответил он мне. Когда я поправился и вернулся к медицинской практике, я убедился, что это так и есть. В последующие годы я обследовал несколько сотен пациентов, страдавших нарушениями представлений о своем теле и телесном «я», вызванными неврологическими причинами и по сути сходных с моим собственным случаем. Свою работу и ее приложения я кратко описываю в последней главе этой книги и рассчитываю позднее опубликовать подробную монографию на эту тему.

Таким образом, здесь переплетаются многие темы: специфические нейропсихологические и экзистенциальные феномены, связанные с моим увечьем и выздоровлением, пребывание в роли пациента и последующее возвращение в мир здоровых людей, сложности взаимоотношений врача и больного, приложение моих выводов к большой группе пациентов, размышления о таком приложении и его значении. Это привело в конце концов к критике современной неврологической медицины и к представлению о том, чем могла бы стать такая медицина в будущем.

Все это, впрочем, случилось только через несколько лет. Поводом послужило долгое путешествие поездом из Бостона в Нью-Йорк, во время которого я прочел замечательную книгу Генри Хэда «Исследования по неврологии» (1920). Он описывал случай, очень схожий с моим собственным, от изучения эффекта повреждения нерва до общих концепций образа тела и телесной гармонии. Последняя глава моей книги была написана в горах Коста-Рики. Это было завершением одиссеи, начатой на той судьбоносной горе в Норвегии.

За исключением последней главы, материал в книге излагается не систематически. Она может рассматриваться как своего рода неврологический роман или повесть, основанная на личном опыте и неврологических фактах, подобных тем, которые А.Р. Лурия излагает в «Потерянном и возвращенном мире» и других своих «нейрографиях».

В моей работе меня очень воодушевлял вышеупомянутый А.Р. Лурия, с которым я имел честь переписываться с 1973 года до его смерти в 1977 году. «Вы открываете совершенно новый мир, – писал он мне. – Пожалуйста, опубликуйте свои наблюдения. Это поможет изме-

нить «ветеринарный» подход к периферическим нарушениям и откроет дорогу к более глубокой и более гуманной медицине». Покойному А.Р. Лурии, пионеру новой, более гуманной медицины, я с благодарной памятью посвящаю эту книгу.

Лондон – Нью-Йорк

Оливер Сакс

I. Гора

Этот мир в бездонном своем молчании знать не знал о радушии. Гостя он принимал как незваного пришельца, вернее и вовсе не принимал, не привечивал, только терпел его вторжение, его присутствие, терпел неподобающим образом, ничего доброго не сулящим, и от этой терпимости веяло чем-то стихийным, грозным, не враждебным даже, а безразличным и смертоносным.

Томас Манн²

Утро субботы двадцать четвертого было пасмурным и хмурым, однако позже погода обещала улучшиться. Я мог бы начать свое восхождение через сады и леса предгорий рано и к полудню, как мне представлялось, достичь вершины горы. К тому времени, наверное, прояснится, и с вершины откроется потрясающий вид – на более низкие горы, уходящие к фьорду Хардангер, и на весь сам огромный фьорд. Восхождение предполагает необходимость карабкаться на скалы, натягивать веревки... однако мне предстояло восхождение совсем другого рода – просто подъем по крутой горной тропе. Я не предвидел особых проблем или трудностей. Я был силен как бык, в отличной физической форме – и предвкушал прогулку с уверенностью в своих силах и надеждой получить массу удовольствия.

Я скоро вошел в ритм ходьбы – двигался той раскачивающейся походкой, благодаря которой расстояние покрывается быстро. Я вышел до рассвета и к половине восьмого поднялся, пожалуй, на две тысячи футов. Предрассветный туман уже начал рассеиваться. Теперь я шел через темный сосновый лес, и продвижение мое замедлилось – отчасти из-за узловатых корней, отчасти из-за очарования того мира крохотных растений, которым лес давал укрытие; я часто останавливался, чтобы рассмотреть незнакомый папоротник, мох или лишайник. Впрочем, к началу десятого я все-таки миновал лес и вышел к огромному конусу, который, собственно, и был горой и возвышался над фьордом на шесть тысяч футов. К моему удивлению, передо мной оказалась ограда и калитка в ней, на которой висело еще более озадачивающее предостережение «Берегись быка!» по-норвежски, сопровождавшееся для тех, кто мог оказаться не в состоянии это прочесть, довольно забавным изображением человечка, подкидываемого бычьими рогами.

Я остановился, рассмотрел картинку и почесал в затылке. Бык? На такой высоте? Что быку здесь делать? На пастбищах и во дворах ферм на нижних склонах я не видел даже овец. Может быть, это какая-то шутка деревенских жителей или альпиниста с извращенным чувством юмора? А может быть, бык все-таки есть, проводит лето на просторном горном пастбище, пробавляясь скудной травкой и колючими ветками кустарника? Ладно, хватит гадать! Вперед, к вершине! Дальше почва сделалась совсем другой. Она стала очень каменистой, усеянной тут и там валунами, местами влажной от прошедшего ночью дождя, но с изобилием травы и стелющегося кустарника – тут животному, имеющему в своем распоряжении всю гору, пищи хватило бы. Тропа, хоть и хорошо заметная, но явно мало используемая, круто шла вверх. Да, это не самая посещаемая часть света... Посетителей, кроме меня, видно не было, а фермеры, как мне представлялось, были слишком заняты посевами, рыбной ловлей и другими делами, чтобы прогуливаться по окрестным горам. Что ж, тем лучше. Вся гора в моем распоряжении! Вперед и выше! Хотя я не мог видеть вершины, я уже поднялся, по моим оценкам, на 3000 футов, и если тропа останется просто крутой, но не коварной, я, как и планировал, к полудню буду на вершине. Так что я шел дальше, достаточно быстро, несмотря на крутизну,

² Манн Т. Волшебная гора. Пер. В. Станевич.

благословляя свою энергию, выносливость и особенно сильные ноги, натренированные годами постоянных упражнений. Сильные мышцы, мощные легкие, надежный скелет – я заставлял себя тренироваться, совершал дальние заплывы и долгие восхождения, так я выражал свою признательность природе, щедро наградившей меня здоровьем. К одиннадцати часам, когда это позволяли перемещающиеся полосы тумана, я начал бросать взгляды на вершину, не такую уже теперь далекую, – да, к полудню я до нее доберусь. Легкий туман еще полностью не рассеялся, он иногда не позволял отчетливо разглядеть утесы. Некоторые из них, полускрытые туманом, казались огромными притаившимися животными, и их очертания становились четкими, только когда я подходил близко. Бывали моменты, когда я останавливался в сомнении, разглядывая туманные тени перед собой...

В тот момент, когда все случилось, я как раз вынырнул из тумана, обходя утес размером с дом; тропа шла вокруг него, так что я не мог видеть, что находится впереди, и именно это обстоятельство позволило произойти *встрече*. Я практически наткнулся на огромное животное, разлегшееся на тропе и полностью ее перекрывшее; закругленный бок утеса скрывал его от меня. У животного была мощная рогатая голова, необъятное белое тело и чудовищного размера кроткая светлая морда. Оно совершенно спокойно отнеслось к моему появлению, только повернуло в мою сторону голову. Однако в тот же момент произошла перемена: увидев меня, бык преобразился из великолепного животного в устрашающее чудовище. Огромная белая голова, казалось, все росла и росла, а в выпуклых глазах засверкала злоба. Морда становилась такой огромной, что я подумал: не заслонит ли она всю вселенную?.. Бык сделался страшен – невероятно страшен, страшен своей силой, злобой и сообразительностью. Теперь он был олицетворением зла. Сначала он выглядел чудовищем, теперь же – самим дьяволом.

Я сохранил самообладание – или что-то на него похожее – и, словно прогулка была закончена, развернулся на 180 градусов и молча и осторожно начал спускаться. Но тут – кошмар! – нервы мои неожиданно сдали, меня охватил ужас, и я кинулся бежать, словно спасаясь от смерти. Я бежал как сумасшедший, ничего не видя, по крутой грязной скользкой тропе, местами скрытой клочьями тумана. Эта слепая безумная паника – на свете нет ничего хуже и ничего опаснее! Я не могу точно описать, что случилось. В своем бегстве по предательской тропе я, должно быть, оступился – камень под моей ногой подался, нога не нашла опоры... Получилось так, словно этот момент выпал из моей памяти.

Существовали «до» и «после», но никакого «между». В одну секунду я мчался как сумасшедший, слыша только пыхтение и тяжелые шаги, гадая, исходит ли этот шум от быка или от меня самого, а в следующую – уже лежал у подножия невысокого острого утеса, с подогнутой странным образом левой ногой, испытывая такую боль в колене, какой не испытывал никогда. Быть полным сил и бодрости – и через мгновение стать фактически беспомощным, быть олицетворением здоровья – и вдруг стать калекой, лишиться возможности быть самостоятельным – это такая перемена, такая неожиданность, которую трудно понять; разум судорожно начинает искать объяснение случившемуся.

С этим феноменом я сталкивался – у других, у моих пациентов, неожиданно заболевших или получивших травму... и вот теперь я испытывал это сам. Моя первая мысль была такой: произошел несчастный случай, и кто-то, кого я знаю, серьезно пострадал. Позже до меня дошло, что пострадавший – я сам, но одновременно возникло чувство, что на самом деле ничего серьезного не случилось. Чтобы доказать это, я поднялся на ноги – точнее, попытался, но тут же рухнул, потому что левая нога совершенно мне не подчинялась и подогнулась, как вареная макаронина. Она совсем не могла служить опорой и просто согнулась – согнулась коленом назад, заставив меня завопить от боли. Однако так безумно испугала меня не боль, а безжизненная шаткость колена – и моя полная неспособность управлять ногой. А затем ужас, на мгновение ставший всеобъемлющим, уступил место «профессиональному подходу».

«Хорошо, доктор, – сказал я себе, – не будете ли вы так любезны и не обследуете ли ногу?»

Очень профессионально, совершенно безлично и никак не нежно, как будто я был хирургом, обследующим пациента, я принялся за дело – приподнял ногу, ощупал ее, подвигал туда-сюда. Делая это, я вслух говорил об обнаруженном, словно обращаясь в аудитории к студентам: «Колено не может двигаться, джентльмены, бедро тоже... Как видите, четырехглавая мышца полностью оторвана от коленной чашечки. Однако, хотя она и оторвана, она не сократилась – она полностью вялая, что может говорить также о повреждении нерва. Коленная чашечка лишилась своего основного соединения, она подвижна – вот так! – как мячик. Она легко смещается – ее ничто не удерживает. Что же касается самого колена, – говоря это, я иллюстрировал каждое свое заключение, – обнаруживается его ненормальная подвижность, совершенно патологический размах перемещения. Оно может быть согнуто без всякого сопротивления, – тут я рукой пригнул пятку к ягодице, – а также чрезмерно растянута с явной дислокацией. – Эти движения заставили меня вскрикнуть. – Да, джентльмены, – заключил я, подводя итог, – поразительный случай! Полный разрыв связок четырехглавой мышцы. Мышцы парализованы и вялы – можно предположить повреждение нервов. Коленный сустав неустойчив – перемещается в обратном направлении. Возможно, порваны крестообразные связки. Не могу ничего наверняка сказать о повреждениях костей, однако вполне можно предположить одну или несколько трещин. Заметный отек, вызванный, возможно, излитием суставной жидкости, но нельзя исключить и разрыва кровеносных сосудов».

Я с довольной улыбкой повернулся к своей невидимой аудитории, словно ожидая аплодисментов. И тут неожиданно «профессиональный подход» и личина улетучились, и я понял, что «поразительный случай» – это я сам, сильно травмированный, возможно, обреченный на смерть. Нога была полностью бесполезна. Я был совершенно один, недалеко от вершины горы, в малонаселенной местности. О моем местопребывании никто не знал, и это пугало меня больше всего остального. Я мог умереть там, где лежал, и никто об этом не узнал бы.

Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким, потерянным, брошенным, таким лишенным надежды на помощь. До этого момента мне не приходило в голову, что я пугающе и отчаянно одинок. Я не испытывал одиночества, поднимаясь на гору (как не испытывал его никогда, получая удовольствие). Я не чувствовал одиночества, обследуя свои повреждения (только теперь я понял, какую поддержку оказывала мне воображаемая аудитория). Теперь совершенно неожиданно на меня обрушилось устрашающее чувство изоляции. Я вспомнил, как за несколько дней до того кто-то рассказывал мне о «дураке-англичанине», который два года назад в одиночку поднимался на эту самую гору; его через неделю нашли сломавшим обе ноги и умершим от переохлаждения. Я находился на таких широте и долготе, где ночью даже в августе температура опускается значительно ниже нуля. Необходимо, чтобы меня нашли до наступления ночи, иначе я не выживу. Нужно спуститься ниже, если удастся, потому что тогда по крайней мере появится шанс, что меня увидят. Я даже начал надеяться, обдумав свое положение, что мог бы сам спуститься к подножию горы, опираясь на палку; только много позже я понял, каким утешением было это заблуждение. И все же, если мне удастся взять себя в руки и сделать то, что в моих силах, у меня мог появиться некоторый шанс выкарабкаться.

Я неожиданно совершенно успокоился и сосредоточился. Первым делом нужно было заняться ногой. Я обнаружил, что хотя любое перемещение колена вызывало мучительную боль и буквально физиологический шок, я чувствовал себя достаточно хорошо, когда нога неподвижно лежала на земле. Однако если я начну двигаться, не имея какой-либо «внутренней структуры», которая поддерживала бы ногу, я буду лишен защиты от беспомощных пассивных движений колена, связанных с любой неровностью земли. Таким образом, ясно, что требовалась внешняя структура – иначе говоря, шина.

И тут мне на помощь пришло одно обстоятельство: я привык всегда носить с собой зонт. Мне кажется совершенно естественным (а может быть, это происходило просто автоматически), отправляясь на прогулку (даже если это было восхождение на гору в милую высоту), захватить с собой мой прочный надежный зонт. Кроме того, при подъеме он бывает полезен как трость. И в тот момент наивысшей необходимости он стал шиной для ноги, приспособлением, без которого я едва ли смог бы двигаться. Я отломал ручку зонта и разорвал на части свой анорак. Длина зонта оказалась как раз такой, как нужно. Его прочное древко почти соответствовало длине ноги, и я привязал его широкими полосами, оторванными от анорака, достаточно туго, чтобы не позволить колену беспомощно двигаться, но не настолько туго, чтобы остановить кровообращение. С момента моего несчастья прошло минут двадцать – или меньше? Неужели все это могло случиться за такое короткое время? Я посмотрел на часы, гадая, не остановились ли они, но секундная стрелка двигалась совершенно равномерно. Время, измеряемое ею, абстрактное, безличное, хронологическое, не имело никакого отношения к моему времени – времени, состоящему исключительно из мыслей о спасении. Глядя на циферблат, я в воображении сравнивал движение стрелок, равномерно идущих по кругу, и безжалостную регулярность перемещения солнца по небу с моим собственным неуверенным спуском с горы. Я и думать не мог о том, чтобы поторопиться, – это привело бы к изнеможению. Не мог я позволить себе и проволочек – это было бы еще хуже. Мне нужно было найти правильный темп и неуклонно его выдерживать.

Я обнаружил, что теперь с благодарностью думаю об имеющихся у меня предметах, – до того я мог думать только о своем увечье. По милосердию судьбы я не разорвал артерии или какого-то крупного сосуда, что вызвало бы внутреннее кровотечение: колено только немного опухло, и нога не похолодела и не посинела. Четырехглавая мышца была парализована, это так, но дальнейшего неврологического обследования я не проводил. При падении я не сломал позвоночник и не разбил череп. И – слава Богу! – у меня были три здоровые конечности и достаточно энергии и сил, чтобы бороться. Клянусь, бороться я буду! Это будет борьба за жизнь, самая главная борьба в жизни.

Спешить я не мог – я мог только надеяться. Однако мои надежды не оправдаются, если меня не найдут до наступления ночи. Я снова посмотрел на часы – в этих широтах вечер наступает поздно, а примерно с шести часов постепенно становится темнее и холоднее. К половине восьмого будет уже совсем холодно и почти ничего не видно. Меня должны были найти самое позднее в восемь. В половине девятого сделается совершенно темно – нельзя будет ничего разглядеть и станет невозможно передвигаться. И хотя благодаря активным упражнениям я смог бы – возможно – пережить ночь, шанс на это был очень, очень невелик. Я на мгновение вспомнил героев Толстого, – но со мной не было другого человека, с которым мы могли бы друг друга согреть. Ах, если бы у меня был спутник! Мне неожиданно пришли на ум слова из Библии, которую я не перечитывал с детства и обычно не вспоминал: «Двоим лучше, нежели одному... ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его»³. Меня посетило ясное воспоминание о маленьком зверьке, которого я видел на дороге, – с перебитой спиной, пытающемся приподняться на парализованных задних лапках. Сейчас я чувствовал себя в точности как это существо. Мое ощущение принадлежности к человечеству как нечто отдельное, возвышающее меня над животным царством и смертностью, также на мгновение исчезло, и опять пришли на ум слова Екклесиаста: «Участь сынов человеческих, и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом»⁴.

³ Библия, Еккл. 4:9—10.

⁴ Библия, Еккл. 3:19.

Прикрепляя шину к ноге, я был занят и опять «забыл» о том, что смерть таится поблизости. Теперь же Проповедник снова напомнил мне об этом. «Однако, – воскликнул я в душе, – инстинкт жизни во мне силен! Я хочу жить – и, если повезет, выживу. Не думаю, что пришло время мне умереть». И снова мне ответил Екклесиаст, нейтрально и бесстрастно: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время...»⁵ Эту странную полную эмоциональную ясность, не холодную и не теплую, не суровую и не снисходительную, но полностью, восхитительно и ужасно правдивую я встречал у других, в особенности у пациентов, ожидавших смерти и не скрывавших от себя правды. Меня поражал, хотя и без полного понимания, простой конец Хаджи-Мурата – когда тот был смертельно ранен, образы без чувств проносились у него в уме; теперь же впервые я испытывал это сам.

Эти образы, слова и «бесстрастные чувства» не промелькнули передо мной, как говорится, в один миг. На это потребовалось время – по крайней мере несколько минут, – то время, которое они заняли бы в реальности, а не во сне; это была неторопливая медитация. Однако они ни в малейшей мере не отвлекли меня от моих занятий. Никто не поймал бы меня на промедлении, на паузе. Напротив, наблюдатель поразился бы моей оперативности и деловитости, тому, как быстро и умело я наложил шину, проверил все, что у меня есть, и двинулся вниз.

Я использовал способ передвижения, никогда ранее мной не применявшийся, – грубо говоря, двигался глутеально⁶ с помощью трех конечностей. Другими словами, я съезжал на заднице, отталкиваясь руками и используя здоровую ногу как руль или, в случае необходимости, как тормоз; пострадавшая нога с наложенной шиной бессильно болталась впереди. Я не придумывал этого необычного и, можно сказать, неестественного способа передвижения – его мне подсказал инстинкт выживания, и я скоро к нему привык. Любой, кто увидел бы, как ловко и сильно я отталкиваюсь руками, скользя вниз по склону, сказал бы: «Ах, да он в этом собаку съел. Такое передвижение – его вторая натура».

Так вот, безногих не нужно учить пользоваться костылями: такое умение приходит без размышлений, естественно, словно человек втайне практиковался в этом всю жизнь. Организм и его нервная система обладают огромным репертуаром «движений-трюков», уловок разного рода – совершенно автоматических стратегий, хранящихся про запас. Мы и не догадывались бы о потенциально существующих ресурсах, если бы не обнаруживали их проявлений в случае необходимости.

Так случилось и со мной. Это оказался достаточно эффективный способ передвижения – там, где тропа не делала резких поворотов, была ровной и не слишком крутой. Если же встречались неровности, левая нога цеплялась за любые шероховатости – она совершенно не проявляла умения их обходить, – и я то и дело проклинал ее «глупость» и «бессмысленность». Действительно, как только путь становился трудным, приходилось присматривать за этой не только бессильной, но и глупой конечностью. Больше всего меня пугали те участки тропы, которые оказывались слишком скользкими или слишком крутыми, потому что было трудно избежать почти не поддающегося контролю скольжения, заканчивавшегося столкновением или ударом, мучительно отдававшимся в колене и показывавшим несовершенство моей импровизированной шины.

Через некоторое время, после особенно болезненного столкновения, мне пришлось в голову позвать на помощь; я заорал во все горло, и мои вопли отдались, казалось, от всех гор в округе. Этот неожиданный звук в тишине испугал меня самого, и тут я неожиданно всполошился: не привлечет ли он быка, о котором я совершенно забыл? Мне представился устрашающий образ животного, снова пришедшего в ярость и мчащегося ко мне, чтобы поднять на рога или затоптать. Дрожа от ужаса, я сумел отползти с тропы и спрятаться за утесом. Там я оста-

⁵ Библия, Еккл. 3:1-2.

⁶ Глутеальный (от *gr. glutos* – ягодица) – ягодичный, относящийся к ягодичной области. – *Примеч. ред.*

вался минут десять, пока ничем не потревоженная тишина не обнадежила меня; я выполз из своего убежища и продолжил спуск. Я не мог решить: были ли мои крики глупой провокацией или я совершаю глупость, боясь звать на помощь? Во всяком случае, я не стал больше кричать и придерживал язык, когда хотелось выругаться, помня, что я все еще нахожусь во владениях быка, возможно, очень бдительного; более того, я сказал себе: «Зачем кричать? Побереги силы. Ты – единственное человеческое существо на многие квадратные мили вокруг». Так я и спускался в полном молчании, не осмеливаясь даже засвистеть: теперь всюду мне мерещился прислушивающийся бык. Я даже попытался тише дышать. Так и проходили часы в безмолвном скольжении.

Примерно в половине второго, после двух часов спуска, я добрался до бурного ручья с переправой из отдельных камней, пугавшей меня еще по пути вверх, когда у меня были здоровы обе ноги. Было ясно, что тут двигаться, отталкиваясь, мне не удастся. Поэтому пришлось перевернуться и «идти» на выпрямленных руках; даже и в этом случае голова у меня еле возвышалась над водой. Течение было быстрым и бурным, вода ледяной. Моя левая нога, бессильно повисшая, не имеющая опоры, неуправляемая, с силой билась о камни на дне и иногда откидывалась в сторону так, что образовывала прямой угол с телом. Тазобедренный сустав казался почти таким же болтающимся, как и колено, но по крайней мере он не причинял боли – в отличие от колена, выгибавшегося и вывихивавшегося. Несколько раз я чувствовал, что теряю сознание; случись это, я мог бы утонуть. Ругательствами и угрозами я заставлял себя держаться.

– Держись, идиот! Цепляйся за жизнь! Я тебя убью, если ты поддашься, так и знай!

Когда я наконец перебрался на другую сторону, я рухнул на камни, дрожа от холода, боли и шока. Я чувствовал себя обессиленным, поверженным, оглушенным и минуты две лежал неподвижно. Потом изнеможение превратилось в усталость, какую-то необыкновенно приятную расслабленность.

«Как здесь хорошо, – подумал я. – Почему бы не отдохнуть немного, может быть, даже вздремнуть?»

Соблазнительный и усыпляющий внутренний голос словно уговаривал меня, но усилием воли я заставил его замолчать. Здесь не было «хорошо», чтобы отдохнуть и вздремнуть. Такое намерение было смертельно опасным и наполнило меня ужасом.

«Нет! – яростно заявил я себе. – Это говорит Смерть – своим нежным убийственным голосом сирены. Не слушай ее! Никогда не слушай! Ты должен продолжать путь, нравится это тебе или нет. Ты не можешь здесь отдохнуть – отдыхать вообще нельзя! Ты должен найти ритм, которому можешь следовать, и упорно его выдерживать».

Этот хороший голос, голос жизни, взбодрил меня и придал сил. Я перестал дрожать и избавился от нерешительности. Я снова целеустремленно двинулся в путь и больше не колебался.

Тут мне на помощь пришли мелодия, ритм и музыка (то, что Кант называл «ускоряющим» искусством). До того как я перебрался через ручей, я двигался только с помощью физической силы своих сильных рук. Теперь я, так сказать, двигался с помощью музыки. Я этого не изобретал, все получилось само собой. Я подчинялся ритму, меня вел марш или песня гребцов – иногда песня волжских бурлаков, иногда мой собственный монотонный напев на слова «Ohne Haste, ohne Rastf! Ohne Haste, ohne Rastf!» («Без спешки, без отдыха») с сильным ударением на каждом Haste и Rastf. Никогда еще в моей жизни слова Гёте не находили лучшего применения! Теперь

мне не нужно было думать о том, двигаюсь ли я слишком быстро или слишком медленно. Я погрузился в музыку, погрузился в ритм, и это обеспечивало мне правильный темп. Я обнаружил, что ритм обеспечивает совершенную координацию – или, может быть, лучшим словом было бы «подчинение»: музыкальный размер возникал во мне, и все мышцы послушно откли-

кались на него – все, кроме мускулов левой ноги, которые оставались «глухими». Не говорил ли Ницше, что мы «слушаем своими мышцами»? Я вспомнил о днях занятий греблей в колледже – наша восьмерка подчинялась ритму, который задавал рулевой; это было что-то вроде мышечного оркестра с рулевым-дирижером.

Каким-то образом с этой «музыкой» мое продвижение перестало казаться мрачной, полной тревоги борьбой. Возникло даже определенное примитивное возбуждение, подобное тому, которое Павлов называл «мускульной радостью». И к тому же, чтобы порадовать меня еще больше, из-за облаков выглянуло солнце, погладило меня теплыми лучами и скоро высушило мою одежду. Все это весьма положительно на меня повлияло, и только после того, как я довольно долго громким басом распевал свои марши, я неожиданно обнаружил, что о быке совсем забыл. Точнее, я забыл свой страх – отчасти поняв, что он больше неуместен, отчасти сообразив, что он с самого начала был абсурдным. Теперь во мне не было места этому страху, да и какому-либо страху вообще, потому что я был до краев полон музыкой. И даже когда эта музыка (слышимая музыка) не звучала буквально, оставалась музыка моего мышечного оркестра – «безмолвная музыка тела», по замечательному выражению Харви. Под ее звуки, с ритмичностью моего движения я сам стал музыкой: «Ты музыка до тех пор, пока музыка звучит». Я стал созданием из мышц, движения и музыки, существующих неразрывно и звучащих в унисон, – за исключением той ненастроенной части меня, того несчастного сломанного инструмента, который не мог влиться в оркестр и оставался неподвижным, без ритма и мелодии.

Когда-то в детстве у меня была скрипка, которая случайно разбилась на куски. В отношении своей ноги я теперь испытывал те же чувства, что и давным-давно в отношении той бедной сломанной скрипки. С ощущением счастья, решительностью и бодрящей музыкой смешивалась острая и мучительная горечь потери того музыкального инструмента, каким раньше была моя нога. «Скоро ли она поправится? – думал я. – Когда начнет она исполнять собственную мелодию? Когда присоединится к радостной музыке всего тела? О, когда?»

К двум часам облака разошлись настолько, что я смог наслаждаться великолепным видом на фьорд подо мной и на маленькую деревушку, откуда я вышел девять часов назад. Мне была видна старинная церковь, в которой накануне вечером я слушал моцартовскую мессу до-мажор. Я почти мог разглядеть – нет, и на самом деле мог – крошечные фигурки на улице. Был ли воздух невероятно, сверхъестественно чист? Или это мое восприятие обрело ненормальную остроту? Я подумал о том сновидении, которое пересказывал Лейбниц: он оказался на огромной высоте, глядя на распростершийся под ним мир с его странами, городами, озерами, полями, деревнями, хуторами. Если он хотел рассмотреть какого-то человека – крестьянина, пахущего землю, старуху, стирающую белье, – ему нужно было только направить на него взгляд и сосредоточиться: «Не нужно было никакого телескопа, кроме внимания». Также было и со мной: мое зрение обострило отчаянное желание, сильнейшая потребность видеть других людей и еще в большей мере быть увиденным ими. Никогда еще не казались люди мне столь дорогими – и столь далекими. Я чувствовал себя таким близким к ним, глядя как сквозь мощный телескоп, и в то же время таким полностью отрезанным от их мира. Если бы только у меня был флаг или сигнальный фонарь, ружье, почтовый голубь, радиопередатчик! Если бы я мог издать действительно гаргантюанский вопль – такой, который был бы слышен на расстоянии десяти миль! Как иначе могли они узнать о том, что есть их товарищ, пострадавший человек, борющийся за свою жизнь на высоте пяти тысяч футов? Я был в поле зрения своих возможных спасителей, и все же, возможно, мне предстояло умереть. В моих чувствах было что-то безличное, вселенское. Я стал бы кричать не «Спасите меня, Оливера Сакса!», а «Спасите страдающее живое существо, спасите жизнь!». Этот призыв я так часто читал в глазах своих пациентов, эта мольба погибающего на краю пропасти, – могучее, яркое, законное желание остаться в живых.

Прошел час, и еще, и еще – под великолепным безоблачным небом, под солнцем, проливающим бледно-золотой чистый арктический свет. День был прекрасным, земля и воздух в своей красоте, блеске и спокойствии словно погрузились в безмятежность. Часы текли, я упорно продолжал свой путь вниз, а мой разум освободился от тяжких мыслей. Меня посещали давно забытые воспоминания, неизменно светлые, – о летних днях, согретых солнечным светом, который одновременно был счастьем и благословением, о тех летних днях, проведенных с семьей и друзьями, череда которых уходила в самое раннее детство. Сотни воспоминаний проносились у меня в уме за время, которое уходило на преодоление пространства между одним утесом и следующим, но эти воспоминания не были чередой мелькающих лиц и голосов. Каждая сцена полностью переживалась заново, все разговоры вспоминались без каких-либо сокращений. Самые ранние воспоминания касались нашего сада – нашего большого старого лондонского сада, каким он был до войны. Я заплакал от радости, когда его увидел – наш сад с его дорогим мне старым железным забором, просторной ровной лужайкой, только что скошенной (огромная древняя косилка всегда стояла в углу), полосатым гамаком с подушками, каждая из которых была больше меня, – в нем я обожал качаться часами, – и радостью моего сердца – крупными подсолнухами с круглыми соцветиями, совершенно меня завораживавшими и показавшими мне, пятилетнему, Пифагорову тайну мироздания. (Ведь именно тогда, летом 1939 года, я открыл для себя, что соцветия состоят из множества простых цветков, и осознал порядок и красоту мира, что стало прототипом каждого научного открытия и радости, которые мне предстояло испытать в дальнейшем.) Все эти мысли и образы, возникавшие помимо моей воли и пронесившиеся у меня в мозгу, были исполнены счастья и благодарности. И только позднее я спросил себя: «Что это за настроение?» – и понял, что оно было подготовкой к смерти. «Пусть твои последние мысли будут благодарностью», – как сказал Оден.

Около шести я совершенно неожиданно заметил, что тени удлинились, а солнце больше не стоит высоко на небе. Какая-то часть меня, подобно Джошуа, стремилась удержать солнце в зените, чтобы продлился золотой и синий день. Теперь я вдруг понял, что наступил вечер и что через час или около того солнце сядет.

Вскоре после этого я добрался до длинного поперечного уступа, откуда открывался вид на деревню и фьорд. До этого уступа, поднимаясь вверх, я добрался около десяти часов утра: он был примерно на полпути между воротами и тем местом, где я упал. Таким образом, на расстояние, которое я преодолел чуть больше чем за час при подъеме, при спуске у меня с моим увечьем ушло почти семь часов. Я увидел, как чудовищно, как оптимистично я ошибся в расчетах, сравнивая свое сползание с ходьбой: теперь я видел, что вниз спускался в шесть раз медленнее. Как мог я вообразить, что спуск займет вдвое больше времени, чем подъем, и что я окажусь в окрестностях самой высоко расположенной фермы к наступлению сумерек? В долгие часы моего путешествия я согревался – вперемежку с возбужденными и не такими уж уютными мыслями – утешительным представлением об ожидающем меня крестьянском доме, мягко освещенном изнутри, о заботливой крестьянке с ямочками на щеках, которая меня накормит и оживит любовью и теплым молоком, а ее муж, мрачный гигант, отправится в деревню за помощью. Меня на протяжении всех бесконечных часов спуска втайне поддерживало это видение, а теперь оно погасло – погасло неожиданно, как свеча; на этом горизонтальном уступе его сменила леденящая душу реальность.

Теперь я мог видеть то, что было скрыто от меня туманом при подъеме, – видеть, как далека, как недостижимо далека от меня была деревня. И все же, хотя надежда во мне умерла, меня утешала возможность смотреть на деревушку и особенно на церковь, окрашенную в розовый цвет длинными лучами заходящего солнца. Я мог разглядеть прихожан, собирающихся на вечернюю службу, и меня полностью захватило воспоминание о том, как я сидел в церкви всего лишь накануне и слушал мессу. Воспоминание было таким ярким, что я услышал ее – услышал с такой отчетливостью, что на мгновение решил, что месса исполняется и сегодня

и звуки каким-то чудом плывут ко мне благодаря особенностям горного воздуха. Я был глубоко тронут, по щекам у меня потекли слезы; и тут я внезапно понял, что слышу не мессу, а реквием. Мое подсознание заменило одно другим. Или, опять же в силу сверхъестественной акустической иллюзии, я слышал исполняемый в церкви реквием – реквием по мне?

Вскоре после семи солнце скрылось; казалось, с собой оно забрало все цвета и все тепло мира. Не было никакой неторопливой лучезарности заката – здесь все происходило проще, суровее, что больше похоже на Арктику. Воздух внезапно посерел и стал холоднее. Эта серость и холод пронизали меня до мозга костей. Тишина сделалась абсолютной. Я больше не слышал вокруг себя никаких звуков. Я больше не слышал себя. Все утонуло в безмолвии. Были моменты, когда я считал себя умершим, и всеобъемлющая тишина становилась тишиной смерти. Так наступает начало конца.

Неожиданно, не веря собственным ушам, я услышал крик, длинный йодль, раздавшийся где-то совсем близко. Я повернулся и увидел стоящих на скале мужчину и мальчика, смутные силуэты в сгущающихся сумерках – менее чем в десяти ярдах от тропы, чуть выше меня. Я не замечал своих спасителей, пока они не обнаружили меня. Думаю, что в последние темные минуты, когда мои глаза были устремлены на едва видную тропу передо мной или слепо глядели в пространство, я перестал быть настороже, постоянно оглядываясь, как это было на протяжении дня. Вероятно, я полностью перестал осознавать окружающее, отказавшись от всех мыслей о спасении жизни, так что спасение, когда оно пришло, явилось словно ниоткуда – чудо, благодать в самый последний момент. Еще несколько минут – и стало бы слишком темно, чтобы меня увидеть. Мужчина, издавший йодль, стоял, опустив ружье; паренек рядом с ним тоже был вооружен. Они спустились ко мне, и мне не понадобилось объяснять им, в каком я положении. Я обнимал их обоих, целовал их – этих носителей жизни. Заикаясь, на ломаном норвежском я рассказал, что случилось со мной на вершине, а чего не мог выразить словами, попытался нарисовать на земле.

Мои спасители рассмеялись, глядя на изображение быка. Я рассмеялся вместе с ними; неожиданно этот смех разрядил трагическое напряжение. Я почувствовал себя замечательно и, так сказать, комически живым. Мне казалось, что в горах я испытал абсолютно все эмоции, но только теперь до меня дошло, что я ни разу не смеялся. Теперь же я не мог остановиться – это был смех облегчения, смех любви – тот смех, который исходит из самых глубин человеческого существа. Тишина была нарушена, та полная безжизненная тишина, которая словно околдовала меня в последние минуты моего одиночества.

Меня нашли отец и сын – охотники на оленей, разбившие лагерь неподалеку. Услышав шум и заметив движение в кустах, они осторожно приблизились, держа ружья на изготовку и представляя себе возможную добычу; выглянув из-за скалы, они обнаружили, что этой добычей был я.

Охотники дали мне отхлебнуть из фляжки аквавита⁷ – и действительно, эта жгучая жидкость была «живой водой».

– Не тревожься, – сказал старший из охотников. – Я спущусь в деревню и часа через два вернусь. Сын останется с тобой. Тебе ничего не грозит – бык сюда не явится!

С момента моего спасения мои воспоминания стали менее отчетливыми, менее заряженными эмоциями. Теперь я был в руках других людей, на мне больше не лежала ответственность за свои действия и чувства. Мы очень мало говорили с парнишкой, но, несмотря на это, у меня было ощущение полнейшего комфорта в его присутствии. Изредка он зажигал для меня сигарету или протягивал фляжку с аквавитом, которую оставил его отец. Я испытывал наименее приятнейшее чувство безопасности и тепла. Я уснул.

⁷ Аквавит – скандинавский алкогольный напиток, крепостью 38-50 градусов. Название происходит от латинского выражения *aqua vitae*, что переводится как «вода жизни», «живая вода». – *Примеч. ред.*

Не прошло и двух часов, как явилась процессия крепких крестьян с носилками, на которые они с изрядными трудностями меня погрузили. Моя болтающаяся нога, так долго лежавшая незамеченной, громко возражала, но несли меня вниз по крутой горной тропе осторожно. У калитки – той калитки, предостережение на которой я проигнорировал, – меня переложили на нечто вроде горного трактора. Пока мы медленно двигались вниз – сначала сквозь лес, а потом мимо садов и ферм, – крестьяне тихо пели, передавая друг другу фляжку с аквавитом. Один из них дал мне покурить трубку. Я вернулся – слава Богу – в славный мир людей.

II. Пациент

Что остается от огромного размаха и масштаба человека, когда он съезживается и сокращается до горсти праха?.. Ложь больного сходно с могилой. Здесь голова лежит так же низко, как ноги, – жалкая и нечеловеческая поза, хотя и общая для всех людей!.. Я не могу подняться с постели, пока мне не поможет врач, не могу я и решить, что могу подняться, пока он мне этого не скажет. Я ничего с собой не делаю, я ничего о себе не знаю.

Джон Дом

Итак, я был спасен – и это конец всей истории». Я пережил то, что считал своим последним днем на земле, со всеми страстями и мыслями, сопутствующими этому, и теперь – к моему невероятному удивлению и радости – я обнаружил, что вернулся к жизни, хоть и с по-дурацки сломанной ногой. С этого момента до... – ну, до какого момента, вы еще узнаете, – настроения, которое определяло напряжение и связь последующих дней, не стало. Таким образом, писать о них трудно, трудно даже живо их вспомнить. Я обнаружил это еще на Горе, как только достиг уверенности в надежности своего спасения – своего рода изнеможение и отсутствие эмоций, потому что во всеобъемлющих и страстных чувствах больше не было нужды, они больше не соответствовали моему изменившемуся и, так сказать, прозаическому положению, столь отличному от трагедии, комедии и поэзии, рожденных Горой. Я вернулся к прозе, к повседневности и – да – к мелочности мира.

И все же закончить свою историю на этом я не могу, потому что была еще одна история или, может быть, другой акт той же странной сложной драмы, что я в то время нашел совершенно удивительным и неожиданным, почти выходящим за пределы моего понимания. Некоторое время я думал о них как о двух отдельных историях и только постепенно стал видеть, что они по сути связаны. Однако в смысле чувств четыре следующих дня были несколько скучными, хотя и включали серьезную и чрезвычайно важную операцию, которая и соединяет две истории; я могу вспомнить только некоторые моменты возбуждения и уныния, выделяющиеся из общей бесцветности того времени.

Меня отнесли к местному врачу – краснолицему уроженцу здешних мест, практика которого охватывала сотню квадратных миль горной местности и берега фьорда и который быстро и решительно, тем не менее тщательно, меня обследовал.

– Вы оторвали четырехглавую мышцу, – сказал он. – Не знаю, какие еще есть повреждения. Вас придется отправить в больницу.

Он вызвал машину «скорой помощи» и сообщил обо мне в ближайшую больницу, примерно в шестидесяти милях от деревни, в Одде.

Вскоре после того как меня поместили в маленькую палату в Одде – там была сельская больница, рассчитанная всего на дюжину коек, с простым оборудованием, необходимым для удовлетворения потребностей общины, – ко мне пришла сестра, прелестная, несмотря на неуклюжесть движений, девушка. Я спросил, как ее зовут.

– Сестра Сольвейг, – ответила она сурово.

– Сольвейг? – воскликнул я. – Это наводит на мысль о Пер Гюнте.

– Называйте меня, пожалуйста, сестра Сольвейг. Мое имя не имеет значения. А теперь, будьте добры, перевернитесь на живот. Я должна измерить температуру ректально.

– Сестра Сольвейг, – сказал я, – нельзя ли поместить термометр мне в рот? Я испытываю сильную боль, и мое проклятое колено будет недовольно, если я попробую перевернуться.

– Ничем не могу помочь, – ответила она холодно. – Существуют правила, и я должна их выполнять. Так положено в нашей больнице – при поступлении температура измеряется ректально.

Я хотел было заспорить, умолять, протестовать, но выражение лица сестры показало мне, что это будет бесполезно. Я покорно перевернулся, и моя левая нога, лишившись поддержки, свесилась с кровати и мучительно согнулась в колене.

Сестра Сольвейг вставила термометр и исчезла – исчезла (я заметил по часам) больше чем на двадцать минут. Не откликнулась она и на звонки и не вернулась до тех пор, пока я не поднял шум.

– Стыдитесь! – бросила она мне, побагровев от гнева.

Мой сосед по палате, молодой человек, задыхавшийся от тяжелого асбестоза⁸, хорошо говоривший по-английски, прошептал:

– Эта сестра – страх божий. Но остальные очень милые.

После того как моя температура была измерена, меня отвезли на рентген.

Все шло хорошо до тех пор, пока лаборантка, не подумав, подняла мою ногу за щиколотку. Колено выгнулось назад, чашечка тут же сместилась, и я невольно завопил. Поняв, что случилось, лаборантка поспешно поддержала колено рукой и очень осторожно и мягко опустила его на стол.

– Простите меня, – сказала она, – я не подумала...

– Ничего, – ответил я, – страшного ничего не случилось. Вы сделали это случайно – в отличие от сестры Сольвейг, которая так поступает намеренно.

Я ждал, лежа на каталке, пока врач рассматривала снимки. Она практиковала в Одде и была по-матерински милой женщиной, дежурившей той ночью в отделении экстренной помощи. Кости целы, сказала она мне, а состояния колена рентген не показывает. Ей никогда раньше не приходилось иметь дела с подобным повреждением, но она думала, что все дело в оторванной четырехглавой мышце, хотя точно можно сказать только при операции. Операция предстояла длительная, «но не сложная», тут же добавила она с улыбкой, заметив мой нескрываемый испуг. Возможно, мне предстоит провести в постели месяца три. «Может быть, и меньше, но вы должны быть готовы и к такому». Разумнее всего мне было бы добраться до Лондона, сказала она. «Красный Крест» может организовать перевозку до Бергена – дорога туда замечательно красивая, если есть настроение любоваться, – а из Бергена в Лондон множество авиарейсов.

Я позвонил своему брату – лондонскому врачу. Он заволновался, но я поспешно постарался его успокоить. Он сказал, что все организует, и велел мне не тревожиться.

Однако не тревожиться не удавалось, и, лежа на больничной койке в Одде, куда меня вернули после осмотра, между задыхающимся и кашляющим молодым человеком и несчастным умирающим стариком, я чувствовал себя ужасно испуганным. Я пытался уснуть – мне дали успокоительное, – но трудно было отвлечься от ноги, особенно учитывая, что малейшее движение вызывало внезапную острую боль в колене. Мне приходилось оставаться почти неподвижным, что не способствовало сну.

Как только я начинал засыпать и, расслабившись, нечаянно шевелился, меня резко будила неожиданная сильная боль в колене. Пришлось проконсультироваться с милой докторшей, и она посоветовала временно наложить гипс, чтобы сделать колено неподвижным.

Когда я снова оказался в постели со своим новым гипсом, я немедленно уснул с очками на носу, – они были там, когда в шесть утра я проснулся: мне приснилось, что вся моя нога сжимается тисками. Я обнаружил, что нога и в самом деле стиснута, хоть и не тисками. Она

⁸ Асбестоз – хроническое профессиональное заболевание органов дыхания, развивающееся при длительном вдыхании пыли асбеста. – *Примеч. ред.*

ужасно распухла – та ее часть, которую я мог видеть, напомнила мне мякоть растения – и была явно пережата гипсом. Ступня очень воспалилась и похолодела от недостатка кровоснабжения.

Гипс взрезали по всей длине с одной стороны, и, почувствовав облегчение давления и боли, я тут же уснул снова и крепко спал до того момента, когда в палату кто-то вошел. Я сначала протер глаза, решив, что все еще вижу сон. Молодой человек, почему-то одетый в белый халат, изящно танцуя, скользнул в палату, проскакал по комнате и остановился передо мной, стигая и вскидывая ноги, как балетный танцор. Неожиданно, к моему изумлению, он вскочил на мой прикроватный столик и улыбнулся мне дразнящей улыбкой эльфа. Соскочив вниз, он взял меня за руки и молча приложил мои ладони к своим бедрам. Там я ощутил с каждого бока аккуратный шрам.

– Чувствуете, да? – спросил он. – Я тоже пострадал. Обе ноги. Катался на лыжах. – И он совершил еще одно па в стиле Нижинского.

Из всех врачей, кого я когда-либо видел, об этом норвежском хирурге я сохранил самое живое и приятное воспоминание, потому что он собственной персоной олицетворял здоровье, мужество, юмор – и поразительную активную эмпатию по отношению к пациентам. Он не вещал, как учебник. Он вообще мало говорил – он действовал. Он прыгал и танцевал, он показал мне свои шрамы, одновременно продемонстрировав свое полное выздоровление. Его посещение придало мне бодрости.

Поездка в Берген – шесть часов в карете «скорой помощи» по горным дорогам – была более чем восхитительна. Это напоминало воскресение. Лежа на высокой каталке в кузове, я наслаждался миром, который едва не потерял. Никогда еще он не казался мне таким прекрасным, таким новым.

Погрузка в самолет в Бергене изрядно потрепала мне нервы. Самолет не был оборудован для того, чтобы в него можно было вкатить каталку, так что меня пришлось поднимать по трапу и укладывать наискосок на двух креслах первого класса. В первый раз я почувствовал себя капризным и раздражительным, полным недовольного нетерпения, которое мне с трудом удавалось контролировать.

Командир экипажа, большой крепкий мужчина, похожий на старинного пирата, был добродушен и практичен.

– Не стоит дергаться, сынок, – сказал он, кладя мне на плечо свою огромную лапищу. – Первым делом, став пациентом, нужно научиться терпению.

Пока меня везли в карете «скорой помощи» из лондонского аэропорта в большую больницу, где меня на следующий день должны были оперировать, хорошее настроение и здравомыслие начали покидать меня, а на их место пришли ужас и страх. Я не могу сказать, что это был страх смерти, хотя, несомненно, он тоже был составной частью моих ощущений. Скорее я испытывал ужас перед чем-то темным, безымянным и тайным – кошмар сверхъестественный и зловещий, какого я вовсе не испытывал на Горе. Тогда я в целом смотрел в лицо ожидающим меня опасностям; теперь же я чувствовал, что во мне растет и захватывает меня искаженная реальность, и бороться с этим я был бессилен. Она не хотела уходить, и все, что мне оставалось, – стараться не сдавать позиций и держаться, бормоча сквозь зубы обнадеживающие доводы здравого смысла. Поездка в карете «скорой помощи» была плохим путешествием во всех отношениях – помимо страха (побороть который я не мог, потому что сам же его и порождал), у меня временами возникали галлюцинации, те самые, которые я так хорошо помнил с детства, когда у меня начиналась лихорадка или мигрень.

Брат, ехавший со мной, заметил мое состояние и сказал:

– Полегче, Олли, не так уж это будет тяжело. Только ты и в самом деле бледен как смерть, покрыт потом и не в себе. Думаю, у тебя температура – результат интоксикации и шока. Постарайся не напрягаться и сохраняй спокойствие. Ничего ужасного с тобой не случится.

Да, у меня действительно поднялась температура. Я чувствовал жар и озноб одновременно. Меня преследовали навязчивые страхи. Казалось, предметы меняются – теряют реальность и становятся, как говорил Рильке, «вещами, состоящими из страха». Больница, вполне прозаическое викторианское здание, на мгновение представилась мне лондонским Тауэром. Каталка, на которой меня везли, показалась мне самосвальнóй тележкой, а маленькая комнатка с загороженным окном (ее нашли для меня в последнюю минуту, потому что все палаты были заняты), куда меня поместили, навела меня на мысль о знаменитой камере пыток в Тауэре. Позднее я стал испытывать большую симпатию к моей маленькой, похожей на материнское чрево комнатке; из-за отсутствия окон я окрестил ее монадой. Однако тем жутким зловещим вечером двадцать пятого, страдая от лихорадки и невроза, дрожа от тайного страха, я видел только плохое и ничего не мог с этим поделать.

– Экзекуция завтра, – сказал администратор в приемном покое. Я знал, что он имеет в виду «операция завтра», но ожидание экзекуции вытеснило смысл его слов. И если моя комнатка была камерой пыток, то она была также и камерой осужденного. Я мысленно видел с галлюцинаторной яркостью надпись, сделанную Фейгином на стене его камеры. Юмор висельника поддержал меня и помог пройти через все гротескные особенности приемного покоя (только когда меня отвезли в палату, стала проявляться человечность). Мои панические настроения усугубила процедура госпитализации с ее систематическим обезличиванием, сопровождающим превращение в пациента. Собственная одежда заменяется одинаковым для всех белым балахоном, на запястье крепится идентификационный браслет с номером. Пациент должен подчиняться правилам учреждения. Он больше не свободен, не имеет больше прав – не принадлежит миру в целом. Это в точности аналогично превращению в узника и напоминает о первых унижительных днях в школе. Вы больше не личность, а заключенный. Вы понимаете, что это – проявление заботы, но все равно испытываете отвращение. Так и я испытывал это отвращение, это чувство деградации на протяжении всех формальностей госпитализации, пока неожиданно и чудесно не проявилась человечность – в тот первый восхитительный момент, когда ко мне стали обращаться как к человеку, а не просто объекту.

Неожиданно в мою камеру осужденного ворвалась славная веселая медицинская сестра, добродушная женщина, с ланкаширским акцентом сообщившая мне, что «смеялась до смерти», когда, распаковывая мой рюкзак, обнаружила пять десятков книг и почти полное отсутствие одежды.

– Ох, доктор Сакс, вы чокнутый! – сказала она, заливаясь смехом.

И тут я засмеялся тоже. Этот здоровый смех разрядил напряжение, и все дьяволы исчезли.

Как только я устроился, меня посетили хирург-стажер, живущий при больнице, и врач. Возникли некоторые трудности в заполнении истории болезни, потому что они хотели знать «основные факты», а я порывался рассказать им всю историю целиком. Кроме того, я не был вполне уверен в том, что в данных обстоятельствах – «основной факт», а что – нет.

Они осмотрели меня, насколько это было возможно при наложенном гипсе. По-видимому, имел место всего лишь разрыв связок четырехглавой мышцы, сказали они, но полное обследование можно будет сделать только под общим наркозом.

– Почему общим? – спросил я. – Разве нельзя ограничиться спинальным?

Я хорошо понимал, к чему идет дело. «Нет», – сказали они и добавили, что в таких случаях общий наркоз – правило, и к тому же (тут они улыбнулись) хирургам едва ли захочется, чтобы я на протяжении всей операции разговаривал или задавал вопросы.

Я хотел продолжать спорить, но что-то в их тоне и манерах заставило меня покориться. Я чувствовал себя беспомощным, как и с сестрой Сольвейг в Одде, и думал: «Так вот что значит быть пациентом? Что ж, я пятнадцать лет был врачом, – теперь увижу, каково быть пациентом».

Я был слишком возбужден во время осмотра, и когда успокоился, подумал, что посетившие меня врачи вовсе не хотели быть несгибаемыми или высокомерными. Они были достаточно приятными, хотя и несколько безразличными; к тому же они наверняка ничего тут не решали. Нужно будет утром задать вопросы моему хирургу. Мне сказали, что операция назначена на 9.30 и что хирург – мистер Свен – сначала зайдет ко мне поговорить.

«Проклятие! – подумал я. – Ненавижу перспективу общего наркоза, потери сознания и неспособности контролировать происходящее». К тому же – и это было гораздо важнее – вся моя жизнь была направлена на осознание и наблюдение, – так неужели теперь мне откажут в возможности наблюдать?

Я обзвонил членов своей семьи и друзей, сообщив, что со мной случилось, предупредил, что если в силу невезения я скончаюсь на столе, я завещаю им выбрать подходящие отрывки из моих записных книжек и из других неопубликованных работ и опубликовать их.

После этого я решил, что нужно придать моему волеизъявлению более формальный вид, так что записал все по возможности юридическим языком, поставил дату и попросил двух сестер заверить мою подпись. Решив, что я «обо всем позаботился» – или по крайней мере сделал все, что было в моей власти, – я с легкостью уснул и крепко спал до начала шестого, когда проснулся с сухостью во рту, ощущением легкой лихорадки и болезненной пульсацией в колене. Я попросил воды, но мне ответили, что перед операцией ничего ни есть, ни пить нельзя.

Я с нетерпением ждал прихода Свена. Шесть часов, семь, восемь...

– Придет ли он? – спросил я сестру, суровую женщину в строгом синем платье (веселая сестричка накануне была в полосатой форме).

– Мистер Свен придет, когда ему удобно, – раздраженно ответила она.

В 8.30 сестра пришла, чтобы сделать мне укол. Я сказал ей, что мне нужно поговорить с хирургом насчет спинального наркоза.

– Нет проблем, – ответила она; инъекции одни и те же и перед общим, и перед спинальным наркозом.

Я хотел сказать, что от лекарства могу одуреть и буду не в состоянии ясно мыслить, когда придет мистер Свен. Сестра ответила, чтобы я не беспокоился: он придет вот-вот, лекарство еще не успеет подействовать. Я смирился и согласился на укол.

Очень скоро я ощутил сухость во рту, появились фосфены – светящиеся пятна перед глазами – и чувство глуповатой сонливости. Я позвонил, вызывая сестру; было 8.45 – я не сводил глаз с часов с момента укола – и спросил, что было мне введено.

Как обычно, ответила она: фенерган и гиосцин, которые применяются для создания полусна. Я внутренне застонал – я же потеряю решимость, укрошенный препаратами...

Мистер Свен явился в 8.53, когда я все еще смотрел на часы. Он произвел на меня сначала впечатление застенчивого человека, но оно тотчас же развеялось от его отрывистого, решительного голоса.

– Ну! – сказал он громко. – Как мы сегодня поживаем?

– Я держусь, – ответил я и услышал, как нечетко звучит мой голос.

– Не о чем тревожиться, – продолжал он оживленно. – У вас порвана связка. Мы ее соединим. Восстановим подвижность колена. Вот и все... Ничего серьезного.

– Но... – медленно пробормотал я, однако он уже покинул палату.

С огромным усилием, потому что я чувствовал себя усыпленным и каким-то ленивым от лекарств, я позвонил и вызвал сестру.

– В чем дело? – спросила она. – Зачем вы меня вызвали?

– Мистер Свен, – пробормотал я, стараясь выговаривать слова отчетливо, – он не задержался – вошел и вышел. Кажется, он очень торопился.

– Ну знаете ли, – фыркнула сестра, – он очень занятой человек. Вам повезло, что он вообще к вам зашел.

Последним воспоминанием, прежде чем я потерял сознание, была просьба анестезиолога считать вслух, пока он будет вводить пентотал IV. Я со странным бесчувствием наблюдал, как он ввел иглу в вену, набрал в шприц немного крови, чтобы проверить попадание, и медленно вколол препарат. Я не заметил ничего – реакции не было никакой. Когда я досчитал до девяти, что-то заставило меня посмотреть на часы. Я хотел поймать последний момент сознания и, может быть, усилием воли сознание сохранить. Взглянув на циферблат, я заметил какую-то неполадку.

– Вторая стрелка, – сказал я с пьяной отчетливостью. – Она и правда остановилась или это иллюзия?

Анестезиолог поднял глаза и ответил:

– Да, остановилась. Должно быть, застряла.

На этом я отключился, потому что больше ничего не помню.

Мое следующее воспоминание, или первое воспоминание после пробуждения, едва ли заслуживает названия «следующее». Я лежал в постели и смутно ощущал, что кто-то трясет меня и называет по имени. Я открыл глаза и увидел, что надо мной наклонился хирург-стажер.

– Как вы себя чувствуете? – спросил он.

– Как я себя чувствую? – ответил я голосом таким хриплым и искаженным, что едва его узнал. – Я скажу вам, как я себя чувствую! Я чувствую себя дьявольски паршиво! Что, черт возьми, происходит? Несколько минут назад мое колено чувствовало себя прекрасно, а теперь оно как на сковородке в аду!

– Это не было несколько минут назад, доктор Сакс, – ответил он. – Прошло семь часов. Вы перенесли операцию, знаете ли.

– Боже мой! – воскликнул я пораженно.

Мне не приходило в голову, что меня могли прооперировать. У меня совершенно не было чувства «после» или «между» – чувства, что время прошло или что-то произошло.

– Ну и ну, – сказал я, приходя в себя. – И как она прошла?

– Прекрасно, – любезно сообщил он. – Никаких проблем.

– А колено? – продолжал я. – Его полностью обследовали?

Мне показалось, что хирург-стажер на мгновение заколебался.

– Не беспокойтесь, – сказал он наконец. – С коленом все будет хорошо. Мы его не вскрывали. Мы сочли, что с ним все в порядке.

Меня не особенно обнадежили его слова или тот тон, каким он их произнес, и прежде чем я снова уснул, я в ужасе подумал: «Они могли пропустить какое-то важное повреждение, может быть, я попал не в такие уж надежные руки...»

Помимо разговора с хирургом-стажером, который я запомнил в точности и потом записал практически дословно, у меня почти не сохранилось связанных воспоминаний о следующих за операцией 48 часах. Я страдал от лихорадки, шока и интоксикации, колено сильно болело. Каждые три часа мне давали морфин. Временами я бредил, о чем не помню ничего. Я чувствовал себя ужасно больным и испытывал сильную жажду, но мне было разрешено получать только по несколько капель воды. Я не мог мочиться, и мне пришлось ввести катетер.

Я действительно пришел в себя только к вечеру пятницы, через два дня после операции. Эти два дня были фактически для меня потерянными, в смысле связного и последовательного восприятия событий. Я ожил довольно неожиданно, лихорадка и бред исчезли, а боль настолько ослабела, что можно было отказаться от инъекций, и катетер – да, катетер, это проклятие! – был вынут; теперь я мог наслаждаться возможностью мочиться свободно. Я чувствовал удивительную бодрость тела и духа, что может выглядеть странно для человека, только что перенесшего довольно серьезную операцию, шок от повреждения конечности и вдобавок к этому – лихорадку и бред, но так оно и было. Как говорится, я прыгнул обратно в жизнь, ободренный и возрожденный.

Свежий ветерок дул в окно – легкий вечерний бриз, – донося голоса птиц и церковный звон. Я с наслаждением глубоко втянул воздух и пробормотал молитву благодарности за свое быстрое – и такое приятное – выздоровление. Поблагодарив Бога, я поблагодарил и хирурга, и весь персонал больницы за то, что они вытащили меня из неприятностей, а также добрый народ Норвегии за то, что меня спасли.

Девяносто шесть часов назад, размышляя я, я полз в сумерках по холодным горам в Норвегии, во власти темноты, под угрозой смерти. Благодарение Богу за то, что я вернулся в страну живых!

Я с наслаждением потянулся, и это действие напомнило мне о том, что нога у меня в гипсе. Да вон он – виден его краешек на верхней части бедра, а ниже гипса – моя нога, розовая и живая, пусть немного опухшая. Было так замечательно думать о том, что ее целостность восстановлена, связки сшиты, все в должном порядке. Все было хорошо, и все будет хорошо. Потребуется время, конечно. Наверное, около месяца мне предстоит провести в больнице, а потом еще месяца два уйдет на выздоровление. Мышцы под гипсом несколько атрофируются – я часто видел, как быстро четырехглавые мышцы теряют тонус при постельном режиме и отсутствии тренировки, так что я не мог ожидать немедленного полного восстановления сил и возможности пользоваться ногой... Все это я понимал и принимал – принимал с радостью. Это была невысокая цена за спасение от смерти или инвалидность. Главное, несомненно, было в том, что я чудесным образом выжил, что мое увечье исцелил превосходный хирург, что тщательный поиск во время операции не выявил других повреждений, кроме порванных связок, а выздоровление ожидалось быстрым, без осложнений какого-либо рода. Будет так приятно снова напрягать мускулы, снова ощутить силу и власть над телом, которые так пугающе исчезли, когда связки были порваны. Теперь, когда они были восстановлены, я заставлю мышцы действовать и верну им подвижность так быстро, как только смогу. Я хорошо знал, как наращивать мышцы и силы – у меня сохранился опыт еще с тех дней, когда я поднимал тяжести. Я всех удивлю, я покажу, на что способен! Улыбаясь от предвкушения, я напряг четырехглавую мышцу – но почему-то ничего, абсолютно ничего не произошло. По крайней мере я ничего не почувствовал – правда, на мышцу я не смотрел. Может быть, сокращение было совсем незначительным... Я попробовал снова – на этот раз напряг мышцу сильно, внимательно следя за тем, что было видно поверх гипса. Опять ничего – совершенно никакого движения, ни малейших признаков сокращения мышцы. Мускулы были неподвижны и инертны, моей воле не подчинялись. Я с дрожью протянул руку, чтобы пощупать мышцу. Она была ужасно истощенной, и гипс (который, вероятно, был наложен снова после операции) теперь позволял мне просунуть под него весь кулак.

Некоторой атрофии вследствие бездействия мышцы по крайней мере следовало ожидать. Чего я не ожидал и что показалось мне крайне странным и смущающим, была полная вялость мышцы – совершенно ужасная и неестественная, которая никак не могла быть просто следствием бездеятельности. Она почти не производила впечатления мышцы вообще – больше походила на какое-то безжизненное желе или сыр. Она совсем не была упругой, не имела тонуса нормальной мышцы, была не просто дряблой, а совершенно атонической.

Я содрогнулся от ужаса, но заставил себя поспешно сосредоточиться на более приятных вещах. Это было сделать очень легко. Несомненно, окажется, что я допустил какую-то глупую ошибку – вроде того как вставляешь ключ в замочную скважину вверх ногами – и утром обнаружится, что все работает нормально.

Скоро должны были прийти мой отец и старые друзья – я попросил персонал известить их о том, что я в сознании и «принимаю». А что касается всей этой чепухи с ногой – ну, она и есть чепуха. Утром придет физиотерапевт, и мы сделаем все процедуры.

Я чудесно провел вечер – это было просто торжество. Было так приятно увидеться со старыми друзьями, теми друзьями, о которых я грезил, когда, как я считал, умирал на Горе.

Это был чудесный, счастливый, жизнерадостный вечер; к возмущению и удовольствию ночного дежурного, мы распили бутылку шампанского. Мои друзья тоже приободрились, потому что вечером в воскресенье я отказался с ними видиться, а в телефонном разговоре попросил быть моими душеприказчиками, «если что-нибудь случится». Что ж, ничего не случилось – и жизнь была во мне ключом. Я был жив, и они были живы. Мы все были живы, и были современниками, и жили рядом, и были спутниками в путешествии по жизни. Тем вечером, двадцать восьмого, среди улыбок и смеха друзей (и иногда слез) я почувствовал как никогда раньше, что значит праздничное настроение, – я не просто был жив, но разделял жизнь друзей, был жив с ними вместе. Я решил, что мое одиночество на Горе было в определенном смысле почти более печальным, чем смерть.

Это был такой замечательный вечер, такой радостный, что нам не хотелось расходиться.

– Как долго ты думаешь пробыть в этом заведении?

– Ни минутой дольше, чем необходимо, – как только смогу ходить. Через пару недель я должен уже вовсю бегать.

Я остался лежать в сиянии добрых чувств и дружелюбия, когда они ушли, а затем через несколько минут погрузился в сон.

Однако не все было в порядке. Действительно, у меня был момент беспокойства насчет ноги, но мне удалось, как мне казалось – успешно, отбросить сомнение как нечто «глупое». Оно вовсе не омрачало моего настроения на протяжении веселого вечера. Казалось, я забыл о нем, забыл полностью, однако в глубине души продолжал помнить.

Этой ночью, когда я погрузился в глубины сна (или глубины прорвались и затопили меня), мне приснился кошмар, особенно страшный из-за того, что казался таким реалистичным, не похожим на сновидение. Я снова был на Горе, безуспешно пытаюсь пошевелить ногой и встать. Однако – и это по крайней мере было типичным для сновидения смешением – произошла странная путаница между прошлым и настоящим. Я только что упал – и все же нога моя уже была зашита: я мог видеть ряд мелких аккуратных стежков. «Прекрасно, – подумал я, – целостность восстановлена. Сюда прислали вертолет, и меня зашили на месте. Связки восстановлены, я готов идти!» Однако нога почему-то ничуть не слушалась меня, несмотря на то что была так прекрасно и аккуратно зашита. Она не двигалась, не пошевелилось ни единое мышечное волокно, когда я попробовал воспользоваться ногой и встать. Я опустил руку и пощупал мышцы – они были мягкими и вялыми, лишенными тонуса или жизни. «Боже мой! – воскликнул я во сне. – Что-то не в порядке, совершенно явно не в порядке. Мышцы лишились иннервации, дело не только в связках». Как я ни напрягался, все было бесполезно. Нога лежала неподвижно, она была инертна, словно мертвая.

Я проснулся в ужасе, обливаясь потом и на самом деле пытаюсь напрячь вялую мышцу, как, вероятно, делал в сновидении. Однако все было бесполезно, мышца не работала – как и во сне. «Дело в шампанском, – сказал я себе. – Ты бредишь, ты перевозбужден. А может быть, ты еще не проснулся и тебе снится сон во сне. Нужен крепкий освежающий сон, и утром ты обнаружишь, что все в порядке».

Я и уснул, но снова оказался в призрачной стране. Я был на речном берегу, заросшем огромными пышными деревьями, тени которых пятнами ложились на чуть колышущуюся воду. Тишина была полной, почти осязаемой на ощупь; казалось, она окутывает меня, как мантия. У меня с собой были бинокль и фотоаппарат. Я собирался сфотографировать необыкновенную новую рыбу – совершенно замечательную, как говорили, хотя видели ее лишь немногие. Как я понял, она называлась химера. Я терпеливо ждал у ее норки, потом засвистел, хлопнул в ладоши и бросил в воду камень, чтобы попытаться разбудить ленивое создание.

Внезапно я заметил движение в воде, исходившее, казалось, из невообразимых глубин. Вода словно засасывалась в середину воронки, булькая, оставляя широкое пустое пространство. Согласно мифу, химера могла одним глотком выпить всю реку, и в этот момент мое любо-

пытство сменилось ужасом, потому что я понял, что миф верен дословно. Химера поднималась из пучины во всем своем великолепии – молочно-белая, морщинистая, как Моби Дик, но в отличие от него – невероятно! – рогатая и с широкой мордой жвачного животного.

Теперь эта тварь посмотрела на меня – посмотрела огромными выпуклыми глазами, похожими на глаза быка; только это был бык, который мог втянуть в пасть всю реку, и вооруженный чешуйчатым хвостом размером с кедр.

Когда химера повернулась ко мне мордой и обратила на меня свои огромные глаза, меня охватила ужасная дикая паника, и я отчаянно попытался отпрыгнуть назад, на безопасное расстояние, вверх по речному берегу. Но мне это не удалось. Движение получилось совершенно неправильным, и вместо того чтобы отбросить меня назад, с силой кинуло вперед, под копыта, которые, как я теперь увидел, имела эта рыба...

Сила неожиданного движения разбудила меня, и я обнаружил, что сильно, до предела напряг во сне подколенные сухожилия. Правую пятку я подтянул к ягодице, а левая уперлась в край гипса. Стояло ясное солнечное утро. Это я мог видеть, не говоря уже о том, что ощущал ветерок, до меня долетали звуки и запахи, пусть лишь как видение и намек: строительные леса были возведены не более чем в футе от окна. Итак, ясное утро четверга – я услышал, как по коридору везут тележку с чайными принадлежностями, уловил запах намазанного маслом тоста. Неожиданно я почувствовал себя великолепно – это было настоящее утро жизни! Я втянул благоуханный воздух и позабыл свои мерзкие сновидения.

– Чай или кофе, доктор Сакс? – спросила меня маленькая сестра-яванка. (Я мельком заметил ее в то отвратительное утро, когда меня везли на операцию.)

– Чай, – ответил я. – Целый чайник! И овсянку, яйцо всмятку и намаженный тост с мармеладом!

Она изумленно раскрыла свои милые раскосые глаза.

– Ну, вам сегодня явно лучше! – сказала она. – Последние два дня вы не хотели ничего, кроме глотка воды. Я очень за вас рада – теперь вы снова хорошо себя чувствуете.

Да, я тоже был рад. Я чувствовал себя хорошо и радовался вернувшейся бодрости, желанию делать упражнения и двигаться. Я всегда был активен – ведь активность жизненно важна. Я обожал любые движения, особенно быстрые движения тела; мысль о том, чтобы неподвижно лежать в постели, была мне ненавистна.

Я заметил перекладину, что-то вроде трапеции, висящую над кроватью. Я потянулся к ней, крепко ухватился и двадцать раз подтянулся. Замечательное движение, замечательные мускулы – их действие приносило мне радость. Я отдохнул и стал подтягиваться снова – теперь тридцать раз; потом, откинувшись на подушку, можно было насладиться приятным ощущением усталости.

Да, я снова был в хорошей форме, несмотря на несчастный случай, операцию и повреждение тканей. Было чертовски приятно сделать пятьдесят подтягиваний, учитывая, что всего пятнадцать часов назад я страдал от шока и бредил. Это принесло мне не только радость, но и уверенность – уверенность в силе моего тела, его выносливости, его воле к выздоровлению.

После завтрака, как мне сказали, придет физиотерапевт. Она, по общему мнению, была первоклассным специалистом, и мы с ней начнем работать – восстановим тонус мышц, чтобы они были «на плаву», заставим работать вместе со всем организмом. Я в определенном смысле почувствовал себя кораблем, сказав себе «на плаву», – живым кораблем, кораблем жизни. Я ощущал свое тело как корабль, на котором я путешествовал по жизни; у него были надежные борты, а ловкие матросы согласованно действовали вместе под командой капитана – меня самого.

Вскоре после девяти физиотерапевт пришла; это была крепкая, похожая на игрока в хоккей женщина с ланкаширским акцентом. Ее сопровождала ассистентка или студентка – кореянка со скромно потупленными глазами.

– Доктор Сакс? – рявкнула физиотерапевт голосом, который был бы слышен на всем стадионе.

– Мадам... – тихо ответил я, склоняя голову.

– Рада познакомиться, – сказала она чуть менее громко, протягивая мне руку.

– Я тоже рад, – ответил я менее тихо, пожимая ее руку.

– Как там ваша нога? Что чувствуете? Небось болит дьявольски, верно?

– Нет, теперь уже особенно не болит – только иногда. Но ощущается довольно странно – не действует как полагается.

– М-м... – хмыкнула она, задумавшись. – Что ж, давайте посмотрим и начнем работать.

Она откинула простыню с моей ноги, и в этот момент я заметил у нее на лице выражение внезапного изумления. Оно тут же сменилось серьезным трезвым выражением профессиональной озабоченности. Врач вдруг словно стала менее живой и несколько подавленной. Достав сантиметровую ленту, она измерила бедро, а также для сравнения здоровую ногу. Результату она, казалось, не поверила и повторила измерение, кинув при этом быстрый взгляд на молчаливую кореянку.

– Да, доктор Сакс, – сказала она наконец, – изрядная у вас убыль – четырехглавая мышца уменьшилась на семь дюймов, знаете ли.

– Звучит устрашающе, – ответил я, – но ведь, кажется, она очень быстро атрофируется от неупотребления.

Слово «неупотребление» вроде бы принесло ей облегчение.

– Да, неупотребление, – пробормотала она скорее себе, чем мне. – Не сомневаюсь, все объясняется именно неупотреблением.

Врач положила руку мне на бедро и пощупала мускулы, и опять мне показалось, что на ее лице промелькнуло выражение изумления и беспокойства и даже нескрываемого отвращения, как бывает, когда неожиданно касаешься чего-то мягкого и извивающегося. При виде этого, хотя взгляд врача тут же стал профессионально вдумчивым, все мои собственные страхи, до того подавлявшие, вернулись с удвоенной силой.

– Ладно! – рявкнула физиотерапевт прежним слишком громким и бодрым голосом. – Ладно! Хватит щупать, измерять и разговаривать – давайте что-нибудь сделаем!

– Что? – спросил я тихо.

– Сократите мышцу, а вы что думали? Я хочу, чтобы вы напрягли четырехглавую мышцу на этой ноге – мне не нужно говорить вам, как это делается. Просто напрягите мускулы. Заставьте мышцу затвердеть – там, где лежит моя рука. Ну же, вы совсем не стараетесь! А теперь с другой стороны.

Я тут же сильно напряг четырехглавую мышцу на правой ноге. Однако когда я пытался сделать то же с левой, не было ни следа напряжения, ни следа затвердения. Я снова и снова пытался это сделать – без всякого результата.

– Похоже, у меня не очень-то получается, – сказал я жалобно.

– Не теряйте мужества! – проорала физиотерапевт. – Существует множество способов... Очень многие испытывают затруднения при напряжении – изометрическом сокращении мускулов. Нужно думать о движении, а не о мышце. В конце концов, люди двигаются, совершают разные действия, а не просто напрягают мускулы. Вот тут ваша коленная чашечка – прямо под гипсом. – Она постучала по гипсу сильными пальцами, и раздался странный неживой звук. – Ну просто подтяните ее к себе. Подтяните вверх коленную чашечку – это нетрудно, раз связки восстановлены.

Я потянул. Ничего не произошло. Я тянул снова и снова. Я тянул до тех пор, пока не стал пыхтеть от усилий. Ничего, совсем ничего не происходило – ни малейшего намека на движение. Мускулы были неподвижны, как спущенный шарик.

Физиотерапевт начала выглядеть встревоженной и огорченной и сурово сказала мне своим голосом тренера:

– Вы не стараетесь, Сакс. Вы на самом деле не стараетесь!

– Прошу прощения, – виновато ответил я, вытирая со лба пот. – Я полагал, что прилагаю массу усилий.

– Нуда, – проворчала она. – Похоже, вы всюду трудились, да только ничего не вышло. Ладно, не нужно беспокоиться, у нас еще есть разные способы! Подтягивание коленной чашечки все-таки в определенной мере действие изометрическое и может быть более трудным потому, что коленной чашечки вы не видите. – Она постучала по непрозрачному гипсу костяшками пальцев, как в дверь.

– Здорово было бы, будь он прозрачным, – откликнулся я.

Она решительно покивала.

– А еще лучше, если бы гипсовые повязки вообще не применялись... здоровенные неуклюжие штуки, порождающие множество проблем. Гораздо лучше обездвиживать суставы скобами – только не пытайтесь сказать об этом ортопедам. Они ведь ничего не смыслят в физиотерапии! – Она резко оборвала себя, смутившись. – Я не хотела этого сказать, – пробормотала она голосом, весьма отличавшимся от ее командирских интонаций. – У меня просто вырвалось... Однако... – Она поколебалась, но потом, прочтя на моем лице понимание и одобрение, продолжала: – Я ничего не хочу сказать против ортопедов – они делают нужную работу, – только, похоже, совсем не думают о движениях и позах, о том, как вы будете что-то делать после того, как анатомия приведена в порядок.

Я подумал о мимолетном визите Свена перед операцией и о его словах: «У вас порвана связка. Мы ее соединим. Восстановим подвижность колена. Вот и все...» Я почувствовал, что симпатизирую этой милой женщине.

– Мисс Престон, – сказал я, взглянув на ее именную бирку (до этого момента я думал о ней только как о «физиотерапевте»), – вы совершенно правы, и мне хотелось бы, чтобы и другие врачи думали так же. У большинства из них головы в гипсе... – Теперь пришла моя очередь постучать по белому цилиндру, подчеркивая сказанное. – Однако, возвращаясь к моему случаю, что мне теперь делать?

– Прошу прощения, – сказала она. – Я отвлеклась. Давайте попробуем еще раз. Все будет очень просто, как только удастся запустить мускулы. Одно малюсенькое сокращение – вот и все, что вам нужно: после первого же подергивания вы пойдете дальше без проблем. Вот что я вам скажу, – голос мисс Престон стал сочувственным и дружеским, – я должна была сегодня заняться с вами только изометрией, но очень важно, чтобы вы добились успеха. Я знаю, как расстраивает, если стараешься, а ничего не выходит. Очень плохо заканчивать занятие с унылым чувством неудачи. Ладно, попробуем активное сокращение – что-то такое, что вы сможете увидеть. Вам нельзя еще поднимать ногу, но я приму весь вес на себя. Я собираюсь осторожно и нежно поднять вашу левую ногу с кровати, а от вас требуется только присоединиться и помочь мне. Мы поможем вам немножко посидеть. – Она кивнула студентке-корейке, и та подперла меня подушками так, чтобы я мог принять сидячее положение. – Да, это должно прекрасным образом привести в действие сгибательные мышцы бедра. Готовы?

Я кивнул, думая: да, эта женщина все понимает, если кто-нибудь и может помочь мне привести в действие мышцы, то это именно она. Я приготовился сделать мощное усилие.

– Вам не нужно так напрягаться! – засмеялась мисс Престон. – Вы же не собираетесь побить рекорд по поднятию тяжестей? Все, что вы сейчас будете делать, – это поднимать ногу со мной вместе. Вверх, вверх... Давайте вместе! Еще чуть-чуть! Да, дело пошло...

Однако дело не пошло. Ничего не вышло, совсем ничего. Я видел это по лицу мисс Престон, как и по своей ноге. Она мертвым грузом висела у нее на руках – лишенная всякого тонуса и собственной жизни, как желе, как пудинг, упакованный в гипс. Отражение собствен-

ного беспокойства и разочарования я видел на лице мисс Престон, которое утратило маску профессионального безразличия, стало живым и открытым, откровенным и правдивым.

– Мне очень жаль, – сказала она (и я видел, что ей действительно жаль). – Может быть, на этот раз вы не совсем поняли, как надо. Давайте попробуем еще раз.

Мы пытались, и пытались, и пытались... И с каждой неудачей, с каждым поражением я чувствовал все большую тщетность своих усилий, а шансов на успех казалось все меньше.

– Я знаю, как сильно вы старались, – сказала мисс Престон, – а кажется, будто вы не старались вовсе. Вы приложили все усилия, но они ничего не дают.

Это было именно то, что я чувствовал сам. Я чувствовал, как усилия бесполезно расточаются, словно ни на что не направленные. Я чувствовал, что они не имеют на самом деле точки приложения. Старание и желание пропадали впустую, потому что желание – это желание чего-то, а именно это что-то и отсутствовало. В начале занятий мисс Престон сказала: «Я хочу, чтобы вы напрягли четырехглавую мышцу на этой ноге – мне не нужно говорить вам, как это делается». Но дело было как раз в этом «как». Я не мог придумать, как еще больше напрячь четырехглавую мышцу. Я не мог придумать, как мне подтянуть коленную чашечку и как согнуть бедро. У меня возникло ощущение, что, значит, что-то случилось с моей способностью придумывать – хотя только в отношении этой единственной мышцы. Чувствуя, что я «забыл» что-то, что-то совершенно очевидное, абсурдно очевидное, каким-то образом ускользнувшее от моего ума, я попробовал напрячь правую ногу. Тут не встретилось совершенно никаких трудностей. Действительно, мне не пришлось стараться, не пришлось придумывать. Никакого усилия воли не требовалось. Нога повиновалась естественно и легко. Я также попытался – это было последнее предложение мисс Престон, «фасилитация», как она его назвала, – приподнять обе ноги одновременно в надежде, что возникнет какое-то «переливание», «трансфер» со здоровой стороны. Увы, ничего! Никакой фасилитации ни в малейшей мере...

Через сорок минут мы с мисс Престон оба были вымотаны и расстроены; мы сдались и оставили четырехглавую мышцу в покое. Для нас обоих было облегчением, когда она занялась другими мышцами левой ноги, заставляя меня двигать ступней и пальцами и совершать другие движения бедром – абдукцию, аддукцию, вытягивание и т. д. Все эти мускулы откликались немедленно и работали как надо – в отличие от четырехглавой мышцы, которая не работала совсем.

Занятие с мисс Престон сделало меня еще более задумчивым и мрачным. Станные предчувствия, возвращавшиеся ко мне в сновидениях, и которые я постарался «забыть» накануне, – все это теперь обрушилось на меня с полной силой, больше я не мог их игнорировать. Словечко «ленивая», как мисс Престон назвала мышцу, показалось мне глупым – какой-то бессмысленной кличкой, лишенной ясного содержания. Что-то было не так, ужасно не так, что-то, что не имело прецедентов в моем опыте. Мышца была парализована – так почему называть ее ленивой? Поток импульсов туда и обратно, который в нормальных условиях автоматически поддерживает тонус, полностью отсутствовал. Нервное движение, так сказать, остановилось, улицы этого города были безлюдны и безмолвны. Жизнь – нервная жизнь – замерла, если считать, что термин «замерла» не слишком оптимистичен. Мышцы расслабляются во сне, особенно в глубоком сне, и нервное движение ослабевает, но никогда не останавливается полностью. Мускулы работают днем и ночью, жизненно важная пульсация и циркуляция крошечных импульсов продолжается, и их в любой момент можно пробудить к полной активности.

Даже во время комы мышцы сохраняют некоторую активность. Они работают, хотя и очень медленно. Деятельность мускулов, как и сердца, на протяжении жизни никогда не останавливается. Однако моя четырехглавая мышца, настолько я мог судить, остановилась. Она была полностью лишена тонуса и парализована. Она как бы умерла, а не просто уснула, а зна-

чит, ее нельзя было разбудить; ее пришлось бы – какое слово тут можно употребить? – «возбудить», чтобы вернуть к жизни. Бодрствование и сон, возбуждение и смерть...

Именно мертвенность мускулов так меня пугала. Эта мертвенность была чем-то абсолютным, непохожим на усталость или болезнь. Как раз это я почувствовал – и подавил это чувство – накануне вечером: предчувствие того, что мышца мертва. В первую очередь такое впечатление создавало ее молчание – молчание полное и абсолютное, молчание смерти. Когда я окликал мышцу, ответа не было. Мой голос не был слышен, мышца была глуха. Но только ли в этом было дело? Когда кто-то зовет, он слышит свой зов – даже если на него нет ответа или ухо, к которому он обращен, глухо. Возможно ли – и эта мысль заставила меня вздрогнуть, словно я переместился в другое пространство, пространство неизмеримо более серьезных, даже жутких возможностей, – что то безмолвие, о котором я говорил, то ощущение, что ничего не происходит, означало, что на самом деле я не окликал (или если окликал, то не слышал собственного зова)? Такая мысль – или нечто на нее похожее (предостережение, предвестие?) – наверняка таилась в глубине моего сознания во время занятий с мисс Престон. Это странное «старание», которое не было на самом деле старанием, это «напряжение воли», которое таковым не было, как не было «вспоминанием» вспоминание...

Что со мной творится? Я не мог стараться, я не мог напрягать волю, я не мог сообразить, я не мог вспомнить. Я не мог сообразить или вспомнить, как делать определенные движения, и мои усилия были иллюзорными, смехотворными, потому что я утратил силу окликнуть часть себя. Теперь, когда я стал все более мрачно размышлять, мне казалось, что неприятности коренятся гораздо глубже, чем я мог предположить. Я чувствовал, что передо мной открывается пропасть...

То, что мышца была парализована, что она была глуха, что ее жизненно важный пульсирующий поток, ее «сердце» остановилось, что она была, одним словом, мертва... Все это, тревожное само по себе, бледнело, теряло значимость по сравнению с тем, что теперь открылось мне. Все эти явления, какими бы ужасными они ни были, оставались исключительно местными, периферическими феноменами и как таковые не затрагивали главного во мне – моего «я» – в большей мере, чем потеря листьев или ветки затрагивает течение соков и корни дерева. Самой пугающей, даже зловещей была ясность: это не было чем-то чисто локальным, периферическим, поверхностным – ужасное безмолвие, забвение, неспособность окликнуть или вспомнить были радикальным, центральным, фундаментальным явлением. То, что казалось сначала не более чем локальным, периферическим повреждением, теперь показало себя в ином, совершенно ужасном свете – как нарушение памяти, мышления, воли; не просто повреждение мышцы, а повреждение моего «я». Образ меня как живого корабля – крепкого корпуса, умелых матросов, направляющего корабль капитана – теперь приобрел очертания кошмара. Дело было не в том, что некоторые доски корпуса сгнили или сломались, или что матросы оглохли, стали непослушны, или покинули судно, – я-капитан больше капитаном не был. Мозг меня-капитана явно был поврежден – страдал от серьезных дефектов, опустошения мыслей и памяти. Совершенно неожиданно меня охватил милосердный сон, глубокий почти как обморок.

Меня неожиданно, грубо и пугающе разбудила маленькая сестра-яванка, обычно такая спокойная: она ворвалась ко мне в палату и потрясла меня за плечо. Принесла мне ленч, она заглянула через стеклянную дверь, и увиденное заставило ее уронить поднос и вбежать в палату.

– Доктор Сакс, доктор Сакс, – пронзительно закричала она в панике, – вы только посмотрите, где ваша нога! Еще немного – и она окажется на полу!

– Ерунда, – лениво ответил я, все еще полусонный. – Моя нога здесь, передо мной, где ей и положено быть.

– Нет! – сказала сестра. – Она наполовину свесилась с кровати. Вы, должно быть, двигали ею во сне. Вы только посмотрите!

– Бросьте, – ответил я с улыбкой, даже и не побеспокоившись взглянуть. – Шуточка не удалась.

– Доктор Сакс, я не шучу! Пожалуйста, приподнитесь и посмотрите сами!

Думая, что она все еще меня разыгрывает (в больницах розыгрыши – дело обычное), я приподнялся. До этого я лежал на спине, но, взглянув, присмотрелся внимательнее. Ноги не было на месте. Это невероятно, невозможно – но ее не было!

Где же она? Я обнаружил белый цилиндр слева, торчащим под странным углом к телу. Действительно, как и говорила сестра, нога более чем наполовину свешивалась с постели. Должно быть, я столкнул ее во сне здоровой ногой, не заметив этого. Внезапно я ощутил полную растерянность. Я чувствовал, что нога лежит передо мной, – или по крайней мере считал, что она там (раньше так и было, и информации об обратном я не получил), – но теперь я видел, что она сместилась и повернулась почти на девяносто градусов. У меня возникло неожиданное чувство полного несоответствия – того, что, как я считал, я чувствовал, тому, что на самом деле видел; того, что я думал, тому, что обнаружилось. На какой-то головокружительный момент мне показалось, что я полностью обманываюсь, испытываю иллюзию – и что за иллюзию! – с какой не сталкивался ни разу в жизни.

– Сестра, – сказал я и заметил, что голос мой дрожит, – не будете ли вы так добры и не подвинете ли мою ногу обратно? Мне лежать делать это трудно.

– Конечно, доктор Сакс, – и давно пора! Она почти свесилась – а вы ничего не делаете, только разговариваете.

Я ждал, что она переместит ногу, но, к моему удивлению, она ничего не сделала – только наклонилась над кроватью, потом выпрямилась и двинулась к двери.

– Сестра Сулу! – завопил я, и теперь пришла ее очередь вздрогнуть от неожиданности. – В чем дело? Я жду, чтобы вы положили мою ногу на место!

Она обернулась, и ее раскосые глаза широко раскрылись от изумления.

– А теперь вы меня разыгрываете, доктор Сакс! Я же передвинула вашу ногу.

На мгновение я утратил способность говорить; ухватившись за перекладину, я подтянулся и сел... Да, она не шутила, – она передвинула ногу обратно! Она-то передвинула, но я не почувствовал, что она это сделала. Черт возьми, что же это?

– Сестра Сулу – сказал я очень рассудительно и спокойно, – мне жаль, что я вспылil. Могу я попросить вас об одолжении? Не будете ли вы добры – теперь, когда я сижу и все вижу, – взяться за гипс у колена и повернуть ногу: просто подвигать ее куда захотите.

Я внимательно следил, как она это делала – приподняла ногу, опустила, подвигала из стороны в сторону. Я мог видеть все эти движения, но совершенно их не чувствовал.

– А теперь, пожалуйста, более размашистые движения, сестра Сулу.

Мужественно – нога была тяжелой, трудно перемещаемой и болтающейся – она подняла мою ногу вверх, потом отвела в сторону, так что нога снова оказалась под прямым углом к туловищу. Эти движения я тоже видел, но по-прежнему ничего не чувствовал!

– Еще один короткий завершающий тест, сестра Сулу если не возражаете. – Мой голос (это я заметил словно издалека) приобрел спокойные, деловые, «научные» интонации, скрывающие мучительный страх перед открывшейся передо мной пропастью.

Я закрыл глаза и попросил сестру снова подвигать ногу – сначала немного, а потом, если я ничего не скажу, размашисто, как и раньше. Ну сейчас посмотрим! Если вы перемещаете руку человека у него на глазах, ему может быть трудно отличить ощущение движения от того, что он видит. Они так естественно связаны друг с другом, что человеку непривычно их различать. Однако если вы попросите его закрыть глаза, не возникнет никаких трудностей в оценке малейших пассивных движений – даже на долю миллиметра. Именно это называли мускуль-

ным чувством, пока Шеррингтон не исследовал его и не переименовал в проприоцепцию; она зависит от поступающих от мускулов, суставов и связок импульсов, которые обычно остаются неосознанными. Именно благодаря этому жизненно важному шестому чувству тело познает себя и оценивает с совершенной автоматической и мгновенной точностью положение и движения всех своих частей, их соотношение друг с другом, их положение в пространстве. Существовало старинное выражение, все еще часто используемое, – kinaesthesia⁹

⁹ Кинестезия (от *гр.* kinesis – движение и aisthesis – чувство, ощущение) – так называемое мышечное чувство, чувство положения и перемещения как отдельных членов, так и всего человеческого тела. – *Примеч. ред.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.